

Заседание кафедры закончилось поздно и Галина Ефимовна или, как её звали студенты, доцент Прошкович, опоздала на службу в Соборе Петра и Павла. Когда она появилась в церкви, прихожане уже расходились. Она купила свечку, поставила её перед иконой Скорбящей Божьей матери и помчалась домой, чувствуя вину за суету, с которой она всё это сделала. Чтобы успокоить себя, дала слово завтра придти пораньше, отстоять службу и помолиться...

Проехав на метро до конечной станции, она долго ждала автобус, понимая – чем дольше его не будет, тем труднее будет в него втиснуться и придётся ждать следующего. Но получилось иначе, стайка молодых парней ринулась к открытым средним дверям, и Галину Ефимовну внесло в салон, а потом притиснуло к какому-то мужчине, от которого пахло крепким табаком и только что выпитой водкой.

В своей жизни Галина Ефимовна не раз сталкивалась с таким запахом, но сегодня она почему-то вспомнила, когда почувствовала его впервые. Этот запах исходил от Павлука, полица из соседней вёски* ...

* * *

В начале войны ей было четыре года, но она не помнила того, что все вокруг называли началом войны, она словно отсутствовала где-то до сорок второго года.

Маленькая Галя смотрит в окно, в котором виден кусочек леса с жёлтыми мелколистными берёзами и зеленеющими между ними елям.

Посея-а-ла огиро-о-чки, низко на-а-д водо-о-ю,
Сама бу-у-ду полы-а-ваты, дрибно-у слезою...

...поёт отец, ловко управляясь шилом и иглой: он подшивает старые валенки. Пара новых валенок лежит рядом.

* Вёска – деревня

Немецкое командование довело до сведения всех жителей приказ об очередной сдаче тёплых вещей и валенок. Отец с матерью решили себе оставить валенки старые, а две пары новых сдать. У отца был хороший полушубок, его от греха подальше спрятали на горище*.

Починив старые валенки, отец идёт на сборный пункт в деревню, где стоит немецкий гарнизон, она в семи километрах от Заболотья. Пока отца нет, мать, подумав, прячет на дно большого куфэра** ещё одну дорожную в хате вещь – пуховую шаль.

Павлюк появился на следующий день. Одет он был в чёрный бушлат, с серым воротником и обшлагами... Два ряда металлических пуговиц, ремень. За спиной короткая винтовка.

– Карабин, – сказал брат Стёпка, которому тогда было восемь лет, но в оружии он разбирался лучше старшей сестры Наташки и матери.

Это не обычное, как у большинства жителей близлежащих деревень, одеяние придавало ему вид не здешний и уж конечно не домашний. Вместе с ним был ещё один полицаи, одетый так же как и Павлюк, но ростом поменьше и помоложе.

Отца в хате не было. И мать встретила Павлюка в штыхи.

– Чего явился?

– Службу справляю, – ответил он.

– Яку службу?

– Где полушубок? – прервал он мать, не желая продолжать пустой, по его мнению, разговор.

– Якой полушубок?

– В яком Яхфим прошлую зиму ходил, – сказал Павлюк, передразнивая мать.

– Нету полушубка...

Павлюк снял с плеча карабин, передал его напарнику и полез по лестнице на чердак.

Отец прятал полушубок в расчёте на то, что немцы его не найдут. Но там, где можно ввести в заблуждение оккупантов, трудно обмануть местных. Уже через минуту Павлюк спускался по лестнице с полушубком подмышкой.

Мать ухватила за воротник и стала с остервенением вырывать его.

– Отдай, – говорила она. – Ты его шил? Ты его наживал?

Павлюк мотнул мать в одну сторону, а потом в другую, и легко вырвал полушубок.

– Тетка Ходора, – сказал он, – будешь обманывать новую власть, дети сиротами останутся.

Он бросил полушубок на плечо напарнику и схватил маленькую Галю подмышки. Мать мгновенно забыла про полушубок и бросилась выручать дочь. Но Павлюк повернулся к матери спиной и подбросил Галю в воздух так, что она едва не ударила головой о потолок.

Всё произошло очень быстро, и Галя не успела даже испугаться. Она только помнит, как взлетела в воздух и снова попала в крепкие руки Павлюка. Именно в этот момент и ударил ей в нос тот табачно-водочный запах.

Павлюк поставил девочку на пол и сказал матери:

– А Яхфиму передай, что он у меня должник.

* * *

Домой на Юго-Запад Минска Галина Ефимовна приехала к девяти часам. Открыв дверь своего подъезда, она пошла к лифту и натолкнулась на парочку, которая целовалась в углу лестничной площадки.

– Хм, – произнесла Галина Ефимовна, но молодёжь не обратила на неё внимания, не прервала своего занятия, не смутилась, как это должно было случиться, по мнению Галины Ефимовны.

Кашлянув ещё раз для приличия, Прошкович дождалась прихода лифта, чувствуя спиной всё, что происходит на площадке, поднялась на восьмой этаж и позвонила в двери своей однокомнатной квартиры.

– Иду, иду, – раздался за дверью голос Алеськи, внучатой племянницы, которую она готовила к поступлению в вуз.

Алеська повернула ключ и дверь распахнулась.

– Привет, Алесья Александровна, – сказала Галина Ефимовна, – как гранит науки?

* Горище – чердак

** Куфэрак – сундук

– Грызём, тётка Галя, грызём, – в тон ей ответила племянница. Она никогда не называла её бабкой или бабушкой. А Галине Ефимовне это в некоторой степени импонировало.

– После ужина поработаем, – ответила та и стала раздеваться.

Алеська поступала в институт второй раз, в прошлом году она не прошла по конкурсу. Наученная горьким опытом, она заранее приехала к Галине и готовилась к экзаменам под руководством строгой родственницы. Алеська во всём внешне подчинялась требовательной бабке, но Галина Ефимовна чувствовала, что не стремление к знаниям привело в Минск Алеську. Если бы та могла остаться в столице без поступления в вуз, она не преминула бы сделать это. Но её отец поставил перед ней задачу поступить в столичный вуз. Только он, по мнению отца, мог быть основой для будущего благополучия дочери.

* * *

Заболотье называлось вёской, хотя в ней было всего три дома. И стояли эти три дома вовсе не за болотом, а рядом с болотом. Но кому-то в голову пришло так назвать этот хутор не хутор и вёску не вёску, непонятно.

Хата Прошковичей стояла крайней, рядом с ней была хата Ганы Болотки, а за ней, уже с другого края бабки Теклы, которую все чаще всего звали Куделихой.

До войны в каждом дворе были корова, поросята, овцы, куры. Ко дворам примыкали огороды. Кроме того, близость с одной стороны болота, с его брусникой и клюквой, а с другой – леса, с его ягодами и грибами давала заболотцам неоспоримые преимущества перед жителями больших сёл и райцентра.

Но прекрасным это место было в мирное время, а у военного времени своя логика. С началом войны Заболотье оказалось между молотом и наковальней, с одной стороны немцы и не без причины подозревали его жителей в связях с партизанами, с другой стороны партизаны своими посещениями ставили их на грань жизни и смерти.

Словно опасаясь, что там за пределами дома детей подстерегает опасность, мать не выпускала маленькую Галю дальше двора, тогда как старшая сестра десятилетняя Наташка и восьмилетний брат Стёпка таких ограничений не имели.

Наташка даже ходила какое-то время в школу, которую открыли немцы. И первые дни ей это нравилось. Но потом учитель отодрал её линейкой и отец сказал, что Наташка в такую школу больше не пойдёт.

Отец и старшие дети занимались хозяйством: работали в огороде, Стёпка управлял корову, Наташка давала корм курам.

У коровы на лбу было большое белое пятно и за это она имела кличку Лыска.

Может быть, потому что мать запрещала одной Гале выходить со двора, жизнь за изгородью казалась девочке таинственной и необычайно интересной.

Особенно ей нравилось бывать в гостях у соседей. Правда, их дворы и дома как две капли воды были похожи на хату Прошковичей. Но внутри их наряду с печкой, полатями, пристройками к печкам, которые назывались канапами, кроватями-ложками были вещи, которых не было у Прошковичей.

У Ганы старинное зеркало – люстерка, в почерневшем от времени деревянном окладе, узорные абрусы* (2) и сурветки** (3). У Куделихи прялка и кросны, а также широкие деревянные лопаты, которыми бабка ставила и вынимала хлеба из печи, а также необычного узора половики и постилка на кровати-ложке.

* * *

Справа на одном из болотных островов стоял отряд Бородина. Он был командиром Красной армии, оказался в окружении, а потом возглавил отряд, который входил в партизанскую бригаду «Смерть фашистам». Когда приходили его ребята, они всегда спрашивали: не заглядывал ли к нам Кондрат.

* Абрус – скатерть

** Сурветка – салфетка

Кондрат был командиром другого партизанского отряда. И отношение к нему было совершенно иным. За Кондратом тянулся шлейф каких-то мифов, необычных поступков, которые приводили в ужас жителей Заболотья и близлежащих сёл, в результате чего имя Кондрата всегда было на языке у жителей Заболотья. Поговаривали, что он не нашёл общего языка с командиром партизанской бригады «Смерть фашизму» и ушёл с группой своих бойцов в болота, создав свой отряд. Причём он занял место, которое комбриг берёт для так называемого гражданского лагеря. Лагеря, в котором могли жить семьи партизан, которые ушли из своих сёл, опасаясь преследования оккупантов за то, что их мужья и сыновья стали воевать с оккупантами.

Вдобавок он был местный, и так же как и Павлюк знал всё и вся. Говорили, что он бросил семью и женился на городской женщине, которая была родом из Ленинграда. Говорили, что он после партизанских акций оставляет записку «бацька Кондрат», а также расстрелял двух бежавших из лагеря военнопленных только потому, что подозревал их в том, что их направили к нему немцы. Основанием для таких подозрений было то, что руки этих людей были без мозолей.

А ещё он явился на вечерку со своим адъютантом Васьком и «мобилизовал» к себе в отряд молодых хлопцев, которые оказались там.

Как-то между прочим, и между делом, раньше или позже всё, что творилось в округе – и немецкие облавы, и партизанские вылазки – становилось известным. Сначала об этом говорили родители, потом обсуждали между собой Наташка и Стёпка, и из этих отрывочных суждений у Гали складывалась собственная картина той жизни и тех событий.

* * *

Галина Ефимовна заканчивала ужинать на кухне, когда Алеська завелась петь в комнате.

Пося-а-ла огиро-о-чки, низко на-а-д водо-о-ю,
Сама бу-у-ду полы-а-ваты, дрибною-у слезою.

Ра-а-сти, р-а-асти огирочки, в четыре-е-е листочка
Не бачила миленького, четыре-е-е годо-о-чка.

Голос у Алеськи ангельский, поёт она «Огирочки» с украинскими интонациями и словами, прямо как когда-то делал это отец Галины. У него был абсолютный слух и, как теперь понимает Галина, способности к языкам. В детстве он окончил всего несколько классов сельской школы и далее всю жизнь учился сам. Ещё с Первой мировой у него была повреждена кисть левой руки. Однако он лихо управлялся одной рукой, и даже валенки подшивал и сучил дратву, помогая себе то большой рукой, то плечом, то зубами. Перед войной он был бригадиром в колхозе. С оккупацией колхоз перестал существовать и отец нигде не работал.

Обладал он и прекрасной памятью. Знал много песен и сказок. Без акцента мог говорить по-русски и по-украински. Причём сочетание «по-украински» он произносил не на русский манер, а так, как говорят на Украине, с ударением на второй слоге. Песни пел белорусские, но мог исполнить их по-украински. Так они звучали совершенно иначе, и такое непривычное и необычное звучание переворачивало душу маленькой Гали.

Удивительно, но ни дочери, ни сын Степан не унаследовали его слуха и голоса. А вот в Алеське он словно повторился.

А на пятый побачи-и-ла, як череду гнала,
Не посме-ела сказать: «Здравствуй», бо маты сто-ояла.

Бо маты-ы стоя-а-ла, да батько дыви-и-вся,
Як мой ми-и-лый чёрнобри-и-вый, на коня-а-а са-адився.

Алеська поёт, а у Галины Ефимовны на глаза наворачиваются слёзы, и она понимает, что никаких занятий с Алеськой сегодня не будет.

Она оставляет в раковине невытую посуду и идёт к Алеське, садится на диван, а та обхватывает её руками за талию.

– Вот видишь, – говорит Галина, – с милым заговорить боялись на глазах батьков, а сейчас...

Она хотела сказать, что сегодняшние молодые тискаются по подъездам, но сдержалась: понимала, что Алеська, опять же, внешне согласившись с ней, внутренне будет против, поскольку по её мнению это не такой уж большой грех, если не сказать большего, вообще не грех.

* * *

Летом сорок третьего Стёпка под большим секретом рассказал Гале, что хлопцы Бородина едва не перестрелялись с хлопцами Кондрата, поскольку и те и другие заказывали выпечку хлеба у бабки Куделихи.

И Куделиха, рискуя жизнью, пекла партизанам хлеб. Причём делала она это только ночами, потому что днём мог нагрязнеть Павлюк.

– А ещё, – говорил Степка, – в доме у Ганны Болотки была партизанская свадьба, там пели, танцевали и пили самогон.

Самогон гнали все, он был чем-то вроде жидких денег. Такой же разменной монетой была махорка. И то и другое старались иметь в запасе. От тех же полицаев без самогона не отделаться. Соседка Ганна как-то пошла в райцентр в лавку за махоркой. Сразу же в лавке её поймали.

– Мужа нет, дети малые, значит, махорка для партизан, – сказал ей полицай и отвёл в какой-то сарайчик, местную тюрьму.

Ганна не особенно огорчалась, – разберутся. Однако один из сокамерников сказал, что полицаям наплевать на то, кому она покупала махорку. Им надо выслужиться перед немцами и представить тех, кто связан с партизанами.

– Так что, девка, – сказал он, – дела твои плохи. Но ты не голоси, а попросись до ветру, а в уборной две доски отходят, если выберешься незаметно – тебе повезло.

Ганна так и сделала. Она выбралась из уборной, проползла балкой подальше от места своего заключения и, дождавшись темноты, пришла в Заболотье.

– А ещё, – говорил Степка шёпотом, потому что отец обратил внимание на их разговор, – ночью приходил сам Бородин. Он с батькой говорил. Потом попросил у матери две тряпки на портянки. Мать стала копать в куфэрке и оттуда выпала Библия, это книга такая про Бога. Бородин посмотрел на неё, полистал и сказал, чтобы она спрятала её подальше, а то ребята на самокрутки изведут.

Отец, словно почувствовав, что до дочери дошло то, чего ей знать ещё рано, говорит:

– Стёпка, геть на двор, корове сена дай.

Потом он подошёл к лавке, где сидела Галя, сел рядом и начал рассказывать сказку.

Каля рэчэчки Дняпра
Там хадила удава,
Там хадила удава.
Тай забачыла яна,
Тай на яваре арла.

И маленькая Галя тут же забыла рассказ Стёпки и перенеслась туда, где милый друг вдовы сражается с турками:

Ён с туркамі ваюе
По каленічкі в крыве

Ужас напал на Галю при этих словах, но дальше было ещё страшнее. И рубашечка на молодце «уся ускипела от крыви».

И настолько образно Галя представляла себе «вскипевшую» от крови рубашку, что со временем стала бояться крови. И когда у них появилась Лизка, и когда мать впервые назвала её «родной кривинкой», Галя не могла отделаться от чувства, что это название когда-нибудь принесёт Лизке беду.

– Тётка Галя, – говорит Алеська, – а дед Степан старше тебя?

– Старше.

– А он был партизаном?

– Нет, он тогда был маленький.

– Ты же говоришь, что он старше тебя?

– Ну не настолько, чтобы воевать в партизанах.

– А ты видела партизан?

– После войны.

Галину Ефимовну удивляют эти вопросы. Хотя чему удивляться, наверное, для Алеськи борода-тый дед Степан жил в те стародавние времена, в какие всё могло случиться.

– А он не носил донесения партизанам?

– Нет, их носила тётка Наталья.

– Тётка Галя, а кого вы боялись больше, партизан или полицаев?

– Вот те на, партизаны были свои, а полицаи служили оккупантам. Кого нам было бояться? – отвечает Галина Ефимовна, чувствуя, что вопрос её покоробил.

– А дед Степан говорил, что партизаны у вас корову увели.

– Это были не партизаны.

– А кто?

– Вооружённые люди, бандиты...

– Да, а дед говорил...

– Что мог запомнить дед, он был ребёнком.

– А ты, ты тоже была ребёнком, ты запомнила?

– Да.

– Но ты же была ещё меньше.

– Зато я была впечатлительней. Ну, хватит о грустном, посмотри телевизор, а я помою посуду.

– Я сама помою.

– Ты помоешь завтра, а сегодня это сделаю я. Иногда это занятие отвлекает от ненужных мыслей.

– Ты прям как Агата Кристи.

Галина Ефимовна уходит на кухню, включает воду и начинает механически намывать тарелки, ложки и чашку, слыша, как Алеська переключает каналы «Горизонта».

Отец с утра натопил печку, сварил картошки и вся семейка за исключением матери сидит за столом, на котором лежат деревянные ложки, а перед ними несколько картофелин. Горячая картошка чистится плохо, и Наташка и Стёпка незаметно пытаются отвлечь друг друга, чтобы похитить у соседа чищеную картофелину. Но отец настороже, короткий удар деревянной ложкой по лбу – и всё становится на свои места: стол не место для игр и шуток. Правда, отец таким образом чаще всего наказывает Стёпку или Наташку, младшую дочь он милует, хотя она тоже участвует в этих шалостях. Тут ничего не поделаешь, если у тебя украли булбочку, нужно воровать у соседей, иначе те облагают и будут это делать постоянно.

Галя чистит очередную картофелину и вспоминает вкус конфет, которыми её угощал немец по имени Ганс.

Ганс приходил к ним несколько раз. Был он высокий, тощий и, несмотря на тёплую погоду, ходил в шинели. Он долго бродил по двору, заглядывал во все углы хозяйственных построек, о чём-то говорил с отцом по-немецки. Из всех детей он почему-то выделял Галю. Брал на руки, давал круглые конфеты, говорил:

– Ин фатерлянд драй киндер.

После ухода немца отец усадил Наташку на табурет и, выпроводив всех из дому, сделал ей городскую причёску, накрутив косу на голове. Потом отправил с узелком к дальним родственникам в вёску, что находилась в одиннадцати километрах.

Вернувшись обратно, Наташка рассказала, что спокойно прошла немецкие посты, и её никто не остановил, потому что останавливали и проверяли только взрослых тёток и дядек. В вёске ей расплели причёску, извлекли записку, опять накрутили косу и отправили обратно.

Но посмотрев на себя в зеркало, Наташка расстроилась. Оказывается, Яхфим одной рукой смог заплести её лучше, чем дядька из вёски двумя руками.

Потом оказалось, что немцы проводили какую-то операцию, но кто-то предупредил жителей, и они ушли в лес.

Сразу же после этого пришёл Павлюк с двумя немцами и каким-то гражданским типом. Тип стал допрашивать отца:

– Что тут делал Ганс?

– Приходил менять свечи на яйца, – ответил отец.

– Покажи свечи, – потребовал следователь.

Отец достал из шкафчика несколько свечей, завёрнутых в тряпицу.

Следователь задал ещё несколько вопросов и ушёл.

В доме несколько дней было напряжённо, но потом всё как-то успокоилось. Всё обошлось, если не считать того, что Павлюк и его напарник вернулись и забрали последних курочек.

– А кто будет платить? – спросил отец, наблюдавший, как молодой напарник Павлюка сноровисто запихивает кур в мешок.

– А никто, – ответил Павлюк, – ты, Яхфим, у меня с прошлого года в должниках.

* * *

«Кто это так непривычно пищит? – думает Галя, просыпаясь, – на Надьку непохоже. У той голос значительно грубее».

Свесившись с печки, Галя видит, что мать сидит на лежанке и держит на руках свёрток, который пищит и извивается, как червяк. Галя начинает понимать – это младенец или, как говорили в вёске, немовляти. Мать даёт ему грудь. Писк на какое-то время прекращается.

Стёпка рассказывает Гале, что ночью приходил Кондрат с двумя партизанами и маленькой девочкой. Он сказал отцу:

– Или забираем корову, или возьмёшь девочку.

Девчонку звали Лизкой, и было ей отроду несколько недель.

– Как жену зовут? – спросила мать Кондрата перед уходом.

– Тебе, тётка, какое дело?

– Время тяжёлое, вдруг не придёте за ней?

– Елизавета Кондратьевна она, – невпопад ответил Кондрат, но уже на выходе добавил: – а мать её зовут Ксения.

Адъютант Кондрата Василёк приходил несколько раз посмотреть, как мы обходимся с Лизкой, а потом перестал ходить.

Девочка была маленькой и слабенькой. На головке редкие волосёнки и короста. Галя с Наташкой стали рассматривать её, но мать сказала, что на маленьких детей нельзя смотреть так долго.

Мать кормила её грудью, делала соски из хлеба с отрубями, мыла её в отваре череды, мазала головку постным маслом, и через какое-то время все болячки Лизки прошли. А мать привыкла к ней и, поскольку Надька уже ползала и даже пыталась ходить, то на руках у неё чаще всего была Лизка. А уж после того как Лизка стала агукать и произнесла первое слово «мама», Ходора назвала её «родная кривинка».

* * *

Складывалось впечатление, что Павлюк знает всё, что делается в Заболотье. После прихода Кондрата он был тут как тут.

– Яхфим, – сказал он, – война кругом, жрать нечего, а ты детей стругаешь?

– Бог дал, – сказал, отец, – на сметник* не выбросишь.

– Кто из бабок роды принимал? – спросил Павлюк.

* Сметник – помойка

– Чего бабок беспокоить, я сам и принял, – ответил отец.

– Ну-ну, – сказал на это Павлюк, обошёл все углы хаты, словно хотел найти доказательства того, что отец ему врёт, и остановился, как бы вопрошая: «Что будем делать?»

Отец протянул ему старую торбу, в которой были кусок сала и бутылъ самогона.

– А выпить со мной не желаешь? – спросил Павлюк.

– Ты же знаешь, я хворый, – ответил отец, – не пью.

– Ну-ну, – сказал Павлюк, покачался с пяток на носки, и ушёл.

И опять, как после визита Ганса, наступили тревожные дни ожидания несчастья. Но и на тот раз всё обошлось. То ли Павлюк поверил тому, что сказал отец, то ли не хотел связываться с Кондратом, поскольку тот был свиреп и не простил бы ему этого.

* * *

А девчонка со временем стала своей в семье Прошковичей. Наташка и Галя по очереди таскали её на руках, и она позволяла это делать. Правда, всегда косила глазами, не далеко ли её несут от матери. А так как чаще всего с ней приходилось сидеть Гале, то она освоила второе слово, и было оно отнюдь не «папа», а Гая, правда, звучало оно как «Гайя». В остальном её речь напоминала набор звуков, которыми она хотела высказать что-то её волнующее. И когда до неё доходило, что её не понимают, начинала обижаться и плакать. Ходить она так и не научилась, хотя к маю сорок четвёртого ей был уже почти год. На руках у матери она тянулась к Гале и

Наташке, но всегда настороженно реагировала на Стёпку и отца. Когда кто-то из Прошковичей-мужчин пробовал взять её на руки или шевелили пальцами рук, приглашая её, личико Лизки мгновенно сморщивалось, и она начинала плакать. В этот момент мать всегда поворачивала её головкой к себе и успокаивала:

– Ну, ну, – говорила она, – не отдам тебя Стёпке, не отдам, моя, моя...

* * *

Через полгода после появления Лизки Прошковичи лишилась последней живности, коровы Лыски. Было это в начале зимы сорок четвёртого. Удивительно, но молока матери хватало и Надьке, и приёмной дочери. Правда, к тому времени Надька уже смело пила коровье, тогда как у Лизки от него всегда начиналось расстройство живота.

В одну из январских ночей Галя почувствовал странную тревогу в доме и проснулась.

– Батька, – сказала мать, – никак к Лыске кто-то пошёл.

Во дворе слышался хруст снега от чьих-то шагов, а затем и раздался тяжёлый вздох, так могла вздыхать только Лыска. Мать бросилась зажигать свет. Но только она чиркнула спичкой, как по окну ударила автоматная очередь, и все, кто был в хате, без всякой команды бросились на пол.

– Не шевелитесь, – сказал отец, – не поднимайте головы.

Но никто и не хотел поднимать голову, все лежали на полу и кожицей чувствовали, как от них уводят их кормилицу.

Кто-то подошёл к окну и заглянул внутрь. Затем он исчез. Отец заткнул разбитое окно подушкой, обмотав её предварительно покрывалом от ложка.

Чуть рассвело, Стёпка и отец сходили в пуню. Лыски там не было. Всё это было странно. Между хлопцами Бородина и Кондрата было некое соглашение не трогать живность у тех, кто имел много детей. Наверное, это была какая-то случайная банда мародёров.

– А может, её вернут? – спросила Наташка на следующий день, – шаль ведь вернули.

Ни мать, ни отец на это ничего не ответили. А с шалью действительно приключилась удивительная история. Галя как-то простудилась и мать, напоив её кипятком, настоянном на сухой малине, закутала шалью и уложила спать на печку. А ночью у них ночевали два хлопца из отряда Бородина. Они ушли под утро, долго копались, одеваясь, не зажигая лампы и свечи. А утром мать с удивлением обнаружила, что куда-то исчезла шаль.

Но потом шаль принесли. Правда, это были другие парни. Впоследствии до Прошковичей дошли слухи, что об этом узнал Бородин и хотел расстрелять хлопца за мародёрство, но тот сказал, что взял шаль временно с согласия хозяев и обязательно вернёт им.

Почему Галина Ефимовна помнит лучше всего сорок четвёртый? Может быть, потому, что он богат на печальные события, а может, потому, что ей тогда уже было семь лет.

Мать всё больше привязывалась к Лизке, впрочем, как и та к матери.

Ходора, пытаясь укрепить ей ножки, часто держала её на руках, и та прыгала, упираясь в колени матери.

– Лиза, Лиза, Лизавета, – развесёлая кобета, – повторяла мать одну и ту же строчку какой-то песни.

* * *

Приближалось лето сорок четвёртого. Все понимали, что скоро оккупации придёт конец. Стали готовиться к тому, чтобы уйти в лес на время отхода немцев, так как боялись, чтобы они перед отступлением не отыгрались на местных за своё поражение.

Мать, словно предчувствуя скорое расставание с Лизкой, начала говорить о том, что Кондрат человек рискованный, он до конца войны не доживёт, и тогда Лизка останется у нас.

– А Ксения? – спрашивал отец.

– А что Ксения, – говорила мать и логика её была настоящей женской, – она баба молодая, ей за муж надо будет выходить за городского, а кому она нужна с ребёнком...

Но в одну из ночей мая к ним пришёл Васёк и сказал, что у Кондрата появилась возможность отправить Лизку и Ксению самолётом на Большую землю. Но мать не отдала ребёнка, и Васёк ушёл ни с чем. На следующую ночь явился сам Кондрат.

– Оставь ребенка, – говорила мать, – кончится война, тогда и придёшь.

– Всё, тётка Ходора, – сказал суровый командир, – мои приказы обсуждению не подлежат.

Мать начала суетливо собирать Лизку в дорогу. А та, словно почувствовав расставание, начала пищать. Тогда мать зашла за печку и стала кормить её грудью, приговаривая:

– Всё хорошо, ну, ну... моя, моя... Но Лизка никак не могла успокоиться, наверное, тревога матери передавалась и ей.

– Заворачивай её, Ходора, – потребовал Кондрат.

Мать запеленала Лизку и укутала сверху пуховой шалью.

– Ночью в болотах сыро, – сказала она, – не простудите её.

И казалось, что всё закончится благополучно, но в последний момент мать как с ума сошла. Первый это понял отец, он бросился к ней и обхватил руками, и придавил спиной к печке, иначе она выцарапала бы Кондрату глаза. Кондрат же направился к дверям, а Васёк как настоящий адъютант прикрывал его отход, пятясь задом за своим командиром, выставив вперед шмайсер.

Слухи о дальнейшей судьбе Лизки были противоречивы. Говорили, что её удалось отправить самолётом в Москву, а потом говорили, что самолёт не прилетел, и её передали родственникам Кондрата, которые после освобождения почему-то сразу же отправили её в Ленинград.

Чуть позже узнали, что в том же мае погибла Ксения. А Кондрат уехал в столицу и в наши места не приезжал ни разу.

Наташка к пятидесятым годам стала уже взрослой, и на постоянные приставания матери написать в Ленинград и разыскать Лизку сказала однажды, что Лизка живёт в Ленинграде, и пошла в школу, поскольку она развитая, и её приняли с шести лет.

Мать тут же стала вспоминать о том, как быстро Лизка училась говорить и, конечно, была умненькой.

– Вот Надька, – говорила мать, – научилась говорить в два года, – а Лизка, она бы... А ты откуда это знаешь?

– Однокурсник по техникуму в Ленинграде справки наводил, – ответила, не моргнув глазом, Наталья.

С той поры всё и началось. «Однокурсник» Натальи стал время от времени сообщать о житье-бытье Лизки. А мать долго жила каждой новостью, повторяла её, комментировала каждое Лизкино действие.

Эта ложь во спасение потянула за собой серию других. Так постепенно Лизка росла, часто болела, лежала в каких-то детских больницах, но с честью справлялась с болезнями.

– Голодное детство, – говорила мать, – вот если бы её свозить на юг.

Через год Лизка «стала ездить на юг», и ей «стало лучше». Но «эти поездки» породили другую опасность. Мать стала интересоваться: каким поездом Лизка ездит на юг?

– И что бы ей не заехать к нам в гости, – говорила она, – ведь не чужие же мы ей. Вот ты, Галя, её на руках таскала, хотя сама была до печки вершок...

Но Лизка так и не заехала к матери. А потом и вообще закрутилась: поступила в институт, окончила его с отличием, стала работать в каком-то важном учреждении. Потом вышла замуж. Но детей у неё так и не появилось. Наталья, ожегшись на «поездках Лизки на юг», интуитивно понимала, что мать может пожелать увидеть Лизкиных ребятишек, может попросить связаться с Лизкой, то есть Елизаветой Кондратьевной, и попросить её привезти детишек на лето.

Потом с Натальей случилось несчастье. Она с мужем возвращалась домой, и машина врезалась в грузовик, который выехал к ним на встречную полосу.

Когда горечь утраты по дочери немного утихла, мать опять стала вспоминать о Лизке. И тогда эстафета рассказов о жизни в Ленинграде Елизаветы Кондратьевны перешла к Галине. И Галина стала делать это так же, как и Наталья, с той разницей, что осознавала греховность этого: в одну из ночей ей вдруг пришло озарение, а не наказал ли Всевышний Наталью за эту ложь. Но остановиться было уже невозможно. Галина понимала, что мать этого не вынесет.

Рассказы о Лизкиной жизни Ходора принимала с гордостью и ревностью одновременно. И только однажды высказала ту мысль, которую предполагала когда-то Наталья.

– А вот родятся у Лизки дети, и будут ездить ко мне на лето. А что, у нас тут хорошо, лес, болота, грибы, ягоды.

Но Лизка «всё время отдавала работе» и ей было не до детей. И тогда мать стала её осуждать за то, что она не думает о детях.

– Наверное, ходит в пальто с горжеткой, – говорила она, – живёт в многоэтажном доме рядом с Таврическим садом. А кто о ней позаботится, когда она станет старой?

Про Таврический сад мать знала из книжки, которая была у внука Сашки, сына Натальи.

И вот уже и дочь Сашки поступает в институт. Быстро летит время.

Мать переживала отсутствие детей у Лизки, не замечая, что семейная жизнь её родной дочери Гали не складывается, что она разошлась с мужем и детей у неё, скорее всего, уже не будет.

* * *

Вчера опять был страшный день, о котором вспоминать не хочется. Во двор пришли какие-то странно одетые солдаты.

– Французы, – сказал отец.

На ломаном русском они попросили накрыть на стол. Отец поставил на скатерть стаканы, самогон, тарелку с квашеной капустой и большую миску с картофелем.

Увидев всё это, гости разозлились.

– Партизан – большой картошка, нам – маленький, – кричал один из них отцу.

И тут случилось то, чего Галя не могла понять.

– Мы для своих детей готовили, а не для вас, – сказал отец, а потом добавил что-то на каком-то языке, похожем на воркование голубей.

Французы выскочили из-за стола и бросились к нему. А Галя, спрыгнув с печки, вцепилась отцу в ноги, боясь, что французы его заберут. Так и стояла она, закрыв глаза, слыша, как кричит мать, и как о чём-то говорят французы, понемногу понимая, что интонации их речи не несут ничего страшного. Уже после войны Галя узнала, что в Первую мировую отец был в плену и там научился говорить по-немецки и знал несколько фраз на французском.

При всём том, что рацион семьи Прошковичей был небогатым, дети, если и не были сыты, то большого голода не испытывали.

Из крапивы и щавеля варили суп, заготавливали грибы, даже подорожник и цветочки конюшины* собирались, сушились, толклись в ступе и служили приправами и добавками к супам, борщам, болтушкам из муки и затиркам.

Но желание наесться от пуза присутствовало постоянно.

* Конюшина – клевер.

Со временем мать стала отпускать Галю в лес с Наташкой, а чаще всего со Стёпкой. Вот и сегодня Стёпка лазает по берёзам и собирает вороньи и сорочьи яйца.

Иногда он пытается поймать сороку, но в круглых сорочьих гнездах два входа, и если ты всунешь руку в один, то сорока мгновенно выскочит из другого. С вороньими гнёздами ещё сложнее – они полностью открыты. Стёпка держит в зубах за завязки шапку, в которую он складывает голубовато-зелёные в крапинку яйца.

Вот он спускается вниз. Галя рассматривает добычу, радуется, что тонкие скорлупки не повредились. Стёпка разводит костёр и в его золе печёт яйца. Делать это нужно осторожно, чтобы они сразу не потрескались, не вытекли, не смешались с золой. Но всё равно яйца всегда подгорают с одной стороны. Стёпка по-братски отдаёт Гале несколько штук из своей доли, а потом, откусывая принесённые из дому варёную картошку и хлеб, Галя с братом поедают добычу.

– Матери не говори, – предупреждает брат, когда они возвращаются домой, – что мы сорочьи яйца пекли.

– Ладно, – отвечает Галя.

Впрочем, ей и в голову не пришло бы рассказать об этом матери.

Стёпка кажется ей большим и серьёзным парнем, который всегда защитит её от опасностей и подводить Стёпку она не будет, хотя Галя до конца не понимает, что плохого в том, что они пекли и ели сорочьи яйца.

Стёпка шагает впереди, а Галя плетётся за ним. И ей не страшно в лесу, потому что с ней её старший брат, который, однако, совсем недавно чуть было не подвёл всю семью.

Уже с первых месяцев оккупации у жителей вёсок сложилось негласная договорённость в случае опасности всем находиться дома или в одном месте.

– Если уж случится что, так всем один конец, – повторяли родители.

Стёпка был у соседей, когда услышал звук мотоциклетных моторов. Он выскочил из хаты Ганы Болотки и бросился домой.

Увидев бегущего мальчишку, немцы окружили хату Прошковичей, обыскали все углы, чердак, запечье, испороли все подушки. Они подумали, что Стёпа бежит предупредить прячущихся в хате партизан.

* * *

Уже став преподавателем истфака, Галина Ефимовна пыталась в архивах найти упоминание об отряде Кондрата, его личном составе. В книгах о партизанском движении бригад с названием «Смерть фашистам» было несколько десятков. Но Галина Ефимовна разыскала и Бородина, и Кондрата. Кондрат значился командиром отдельной диверсионной группы.

Далее шли сводки и отчёты о деятельности бригады, её отрядов и групп и ничего больше.

Тогда она стала искать очевидцев. Медленно, по крупицам она восстановила картину той блокады, в которую попала в мае сорок четвёртого группа Кондрата.

А после того как восстановила, с ещё большей ревностью стала рассказывать матери о Лизке.

Отец умер в семьдесят пятом, мать пережила его на пятнадцать лет.

Со временем она всё меньше вспоминала о «родной кривинке».

– У неё своя жизнь, – как-то философски заметила она и больше никогда не спрашивала: – Дочь, что там слышно о Елизавете Кондратьевне?

И только перед смертью вдруг сказала:

– Умру, наверное, скоро?

– С чего это ты вдруг? – начала было Галина.

– Лизка сегодня приснилась...

После смерти матери у Галины Ефимовны отпала обязанность рассказывать о жизни в Санкт-Петербурге её приёмной дочери. И о существовании Елизаветы Кондратьевны в семье Прошковичей не вспоминали.

Май сорок четвёртого. Немцы блокировали соседнюю партизанскую бригаду. И по стечению обстоятельств в блокаду попал и отряд Кондрата. Тактика партизан в таких случаях была проста: разбиться на маленькие группы и пытаться прорваться. Но Кондрат не стал дробить свой отряд.

Не имея возможности получить у местных жителей продукты, уклоняясь от поисковых групп противника, отряд пытался нащупать места, где можно было либо пойти на прорыв, либо выскользнуть из окружения незамеченным. Но куда бы они ни выходили, везде были немцы, стояла военная техника, и громкоговорители убеждали партизан сдаться и получить помилование от немецкого командования, помыться в бане и сытно поесть.

Оставалась одна надежда на выход к стыку двух лесных массивов в надежде прорваться именно там, хотя никаких данных, что там нет противника или противник сосредоточил малые силы, у командира не было. Впереди, в пределах видимости были видны спины двух дозорных, остальные же брели одной группой. Бойцы не спали и не ели несколько суток. Недовольство решением Кондрата не разбивать отряд на группы росло и переходило в ропот. Ксения несла на руках Лизку, время от времени давая ей пососать тряпочку, в которую был замотан сухарь. Но это уже не устраивало ребёнка, и та стала пищать.

– Оставь её, – сказал Кондрат жене.

Та отрицательно мотнула головой. Кондрат, не привыкший к возражениям, снял с плеча Васька шмайсер.

– Оставь...на купине*

Ксения, спотыкаясь и оглядываясь на мужа, не передумает ли он, положила пищаний свёрток на болотную кочку.

– Иди, – сказал Кондрат ей, указав стволом автомата в сторону, куда двигался отряд.

Васёк увлек Ксению за собой, а Кондрат остался возле болота, в ожидании, когда последний из его бойцов скроется за стволами деревьев. Среди множества лесных шумов плач ребёнка был хорошо слышен. Но вдруг он прекратился. Лизка, словно почувствовав, что именно от этого зависит её жизнь, замолчала.

Ксения вырвалась из рук Васька и побежала обратно. Однако плач тут же возобновился, но... последовала короткая автоматная очередь, и Лизка больше не плакала.

В тот же день группа Кондрата прорвалась на стыке двух лесных массивов, потеряв две трети своего состава. Среди погибших была и жена Кондрата Ксения. Те, кто остался жив, говорили, что она искала смерти, и та пришла к ней.

На следующий день Галина Ефимовна отстояла службу в Соборе Петра и Павла.

Она поздно пришла к Богу. В храм ходит время от времени, плохо разбирается в обрядах и не знает многих молитв. Но каждый год в конце мая всегда посещает Собор Петра и Павла.

Из услышанного во время служб и некоей логики моления она составила свою молитву, в которой просит прощения за ту многолетнюю ложь, и ... упокоения душе Рабы Божьей Елизаветы... на поле боя убиенной.

* Купина – кочка.